

Вязниковский самодур

Автор:

Михаил Волконский

Вязниковский самодур

Михаил Николаевич Волконский

Вязниковский самодур #1

«Князь Гурий Львович Каравай-Батынский, бывший при государыне Екатерине „в случае“, но недолго, награжденный богатыми имениями, проживал в добровольной ссылке в своем родовом поместье – Вязниках. Вкусив от опьяняющего зелья власти, он не захотел, не удержав своего достоинства, вернуться вновь в ряды обыкновенных царедворцев и, уехав в свои Вязники, поселился там, как говорил он, навсегда...»

Михаил Волконский

Вязниковский самодур

I

Князь Гурий Львович Каравай-Батынский, бывший при государыне Екатерине «в случае», но недолго, награжденный богатыми имениями, проживал в добровольной ссылке в своем родовом поместье – Вязниках. Вкусив от опьяняющего зелья власти, он не захотел, не удержав своего достоинства, вернуться вновь в ряды обыкновенных царедворцев и, уехав в свои Вязники, поселился там, как говорил он, навсегда.

Вязниковский дом отстроил он заново по планам Растрелли, сделал из него дворец, окружил огромным парком, собрал вокруг себя мелкопоместных дворян и создал себе из них нечто вроде придворного штата. У него были два камергера, пять камер-юнкеров, один шталмейстер и целый полк камер-лакеев, гоф-фурьеров и арапов, в которых, за неимением настоящих, он красил крепостных Филек и Прошек.

Для гостей существовал целый флигель, и всякий, кто желал, мог пожаловать на даровые хлеба к расточительному князю. Впрочем, говорили, что его богатство таково, что невозможно прожить его одному человеку. Многие жили во флигеле недели по три, не представляясь хозяину из боязни обеспокоить его или, главное, не понравиться ему.

Балы, роскошные пиры, спектакли собственной балетной и драматической труппы, охоты, рыбные ловли и пикники с потешными огнями и хитрыми иллюминациями не прекращались в Вязниках.

Иногда, хотя это и редко бывало, князь Гурий Львович в самый разгар какого-нибудь праздника вдруг вставал с золоченого кресла, в котором имел обыкновение сживать, и громким голосом кричал во всю мочь:

– Убирайтесь вы все вон!.. Надоели!..

Тогда гости вперегонку разбегались – никто не желал остаться последним. По обычаю князя последнего обливали тут же в зале, будь то кавалер или дама, ушатом воды. Разбежавшись, гости спешили по домам.

Проходило некоторое время, отдыхал князь, как говаривал он, от суеты мира и светского шума в кругу своих преданных рабов и рабынь – и снова во все стороны летели гонцы собирать гостей к княжескому столу. И гости находились, съезжались, наполнялся флигель, и опять начиналась прежняя шумная жизнь в Вязниках.

От Вязников жалованные поместья князя тянулись почти на полторы губернии без перерыва.

Дороги у него были как бархат и содержались в безукоризненной исправности, но на всех въездах во владения Каравай-Батынского стояли рогатки и заставы,

проехать через которые можно было только с особого разрешения самого князя. Надо было подать ему прошение об этом, выждать милостивой резолюции, и если таковая следовала, то тогда можно было ехать безвозбранно.

Недоразумений из-за этих рогаток происходило многое множество вследствие обширности княжеских земель, в силу чего число проезжих было большое. Однако исключений не делали ни для кого.

Раз проезжала важная персона из Петербурга, но и ее не захотели пропустить через заставу без дозволения князя. Она начала так браниться, что караульный оробел и поднял шлагбаум. Он оправдывался потом тем, что персона, по всей видимости, была очень важная, потому что бранилась уж очень крепко. Однако, едва успела проехать коляска с персоной, выскочил начальник караула из караульного дома и опустил шлагбаум как раз в то время, когда под ним проезжал тарантас с камердинером персоны. Шлагбаум ударил того по лбу, и так сильно, что беднягу подняли замертво.

Пока начались об этом дело и следствие, караульный мужик, поднявший шлагбаум проезжему, не имевшему княжеского пропуска, был привязан на три дня по приказанию князя к этому самому шлагбауму и, лишенный воды и пищи, должен был волей-неволей то подниматься на воздух, то опускаться, чтобы знал вперед, как быть послушником господской воли.

Для расследования по этому делу был нарочно прислан из Петербурга доверенный чиновник.

Получив об этом известие, князь разогнал немедленно всех гостей от себя и призадумался. Дело выходило нешуточное. Оно грозило серьезными последствиями.

В губернский город, куда уже прибыл чиновник, был послан от Каравай-Батынского уполномоченный, получивший приказание не скупиться на деньги. Петербургский чиновник не выдержал: взял предложенные ему пятьдесят тысяч рублей, отослал их жене и детям, а сам застрелился.

Вскоре после этого случая, благодаря которому князь Гурий Львович окончательно перестал уже различать границы между самоуправством и самовластием, к рогатке на рубеже его имений подъехала тройка ямских лошадей. В тарантасе сидел не старый, но не молодой уже человек в военном сюртуке. Лицо у него было загорелое, сложение сильное, руки огромные. Роста он был высокого.

– Какой еще пропуск нужен, коли я еду с царским паспортом? – ответил он на требование от него особого пропускного княжеского листа и, выйдя из тарантаса, преспокойно оттолкнул сторожа, после чего с такою легкостью сорвал железную скобу, точно она была оловянная.

Сторож, тот самый мужичонка, что три дня болтался привязанный к шлагбауму, видя столь решительные действия со стороны проезжего, кинулся ему в ноги и стал молить, чтобы тот не губил его, что если проедет он через заставу силой, то несдобровать ему, бедному мужичонке.

Проезжий смилостивился, улыбнулся и спросил только:

– Как же теперь быть?

– Позволь, батюшка, кормилец милостивый, отвести тебя под конвоем в княжеский дом, – стал просить мужичонка. – Обиды тебе никакой не будет. Отведу тебя и сдам с рук на руки, честь честью, и вечно Бога молить стану...

– Ну, а конвоиром-то ты будешь? – снова улыбнулся проезжий.

Мужичонка приосанился.

– Я самый, милостивец!..

– Ну, веди, дурья голова! Посмотрим, что из этого выйдет...

Мужичонка опять поклонился ему в ноги и, выпрямившись, важно зашагал с дубинкой в виде оружия за огромным, коренастым, сильным человеком, способным, казалось, убрать одним махом десятерых таких, каков был он сам.

Тройка поехала сзади шагом.

Князь, окруженный гостями, сидел на террасе, когда ему пришли доложить, что сторож Трофимка привел от заставы под конвоем проезжего, который желал ослушаться его княжеской воли.

– Ну, ведите сюда этого ослушника! – приказал князь. – Мы разберем это дело.

Огромная терраса с вычурными фигурными колоннами была завешена полотном с солнечной стороны. В тени сидел князь в золотом кресле, окруженный своими приспешниками. У кресла стояли дежурные камергер, камер-юнкер и секретарь, а сзади – огромный гайдук Иван, любимец князя, выходивший один на медведя с рогатиной. Пред князем на столике были цветы, вино в хрустальных кувшинах и фрукты. Гости держались в стороне, в отдалении. Сидели из них очень немногие; большинство садиться не смело.

От террасы вниз к реке шла широкая лестница уступами, с засаженными цветами площадками; по бокам лестница была украшена большими вазами, полными пахучих цветов. За рекою виднелись поля с полосой синего леса вдали.

Когда ввели арестованного Трофимкой «ослушника», все – и князь, и гости – ахнули от удивления: каким образом лядящий мужичонка мог силой привести такого огромного человека? Но князь рассудил по-своему, поняв дело так, что проезжий приведен сюда не силой Трофимки, а страхом пред его, князя Каравай-Батынского, могуществом.

– Кто ты такой, что смел выказать намерение ослушаться моих приказаний? – спросил он, развалившись в кресле.

Проезжий осмотрелся кругом, как бы ища места, куда присесть, но, не найдя свободного стула, обратился к князю и ответил, явственно произнося каждое слово:

– Я – такой же, как и ты, дворянин, Александр Ильич Чаковнин, а вот когда мы с тобой на «ты» побратались, этого я не упомяну хорошенько.

Между гостями произошло смятение. Дежурные камергер и камер-юнкер отступили шаг назад. Никто не подозревал, что можно разговаривать с князем так дерзко.

– Вот ты как отвечать умеешь! – проговорил Каравай-Батынский. – Ну, хорошо, голубчик, мы поучим тебя вежливости... Отведи-ка, Ваня, его в отдельную, пусть посидит на хлебе и воде!.. Это нрав злостный укрощает, говорят! – и князь, чтобы успокоить свое сердце, отпил из хрустального бокала большой глоток вина.

III

Едва двинулся гайдук Иван со своего места, как Чаковнин схватил с подвернувшегося ему под руку столика мозаиковую крышку и замахнулся ею.

– Подойди только – голову расшибу!.. Слушай, князь, – заговорил он, обратившись к Каравай-Батынскому. – Пришел я к тебе добровольно – сам можешь судить, что не мужичонке хилому привести меня сюда – значит, я твой гость, а с гостями так не обходятся. Холопа твоего я на месте уложу, если он посмеет еще шаг ступить. А тебе вот что скажу: или ты за оскорбление, как подобает дворянину, разведешься со мной на честном поединке, или удовлетворишь меня извинением, или же я пущу в тебя сейчас этой крышкой, будь спокоен – без промаха, ловко придется.

Он слегка пригнулся и держал крышку наотлет так, что целил ею прямо князю в голову.

Уж очень большая решимость выделась во всей его фигуре, и глаза блестели так гневно, что можно было поверить, что он готов в самом деле исполнить свою угрозу.

Гайдук Иван, не щадя живота своего, кинулся было на защиту своего господина, но, по счастью, князь спохватился.

– Куда ты прешь, Иван? – крикнул он. – Или не видишь, что господин не шутит?.. Мне тебя не жалко, мне жалко мозаичной крышки. Я ее из Италии выписал, а он ее разобьет. То есть нет у этих холопей никакого уважения к предметам искусства! – С этими словами он встал, подошел к Чаковнину и, шаркнув ногою и изогнув спину, сделал приветственное движение рукою, говоря: – Государь мой, милости прошу вас как гостя остаться у меня, ибо вижу, что имею дело с достойным человеком и дворянином.

Чаковнин положил крышку на место и в свою очередь поклонился, сказав:

– Вот такое обращение, князь, нам с вами гораздо более приличествует.

Каравай-Батынский повел его к своему столу. Один из гостей сейчас же схватил свой стул, перенес его и поставил для Чаковнина.

– Табачку не угодно ли? – предложил Чаковнину князь, усаживаясь и протягивая ему золотую, осыпанную камнями табакерку.

– Спасибо, – ответил тот, – только свой нюхаю... Вот-с, может, моего угодно? – и он достал из кармана медную, тяжелую, огромную табакерку с простым зеленым табаком и, понюхав, подал ее князю.

– Дружба, значит, дружбой, а табачок врозь! – рассмеялся князь. – Ну, а винца стаканчик, холодненького, со льдом?

– Вот от винца не откажусь.

Князь повел глазом в сторону камергера, и тот, поспешно схватив кувшин, налил Чаковнину вина в стакан.

– Ну, князь, я на тебя не сержусь больше – Бог с тобой! За твое здоровье пью, – сказал Чаковнин, взяв стакан.

Среди гостей пробежал неодобрительный шепот. Всем показалось, что князь передернулся и опять, на этот раз уж окончательно, рассердился на дерзкого приезжего и крикнул на самих гостей:

– Чего там разговариваете? Вести себя не умеете!.. Вы у меня поговорите еще!

Все снова притихли.

Князь стал спрашивать своего нового гостя, откуда и куда он едет и много ли намерен провести времени в дороге. Тот отвечал уклончиво: сказал только, что был в своей вотчине, а теперь возвращается в Петербург.

Толстый дворецкий в голубой ливрее и пудре доложил, что кушать подано. Князь встал и, обратившись больше к одному Чаковнину, пригласил, опять изогнувшись:

– Милости прошу!..

Камергер и камер-юнкер пошли вперед, потом князь с Чаковниным, за ними секретарь, потом остальные гости целой толпой. Дам среди них не было.

Столовая – огромный зал с отворенными в сад высокими, начинавшимися от самого пола окнами – была, как оранжерея, уставлена растениями в кадках. Посредине был накрыт стол на шестьдесят кувертов с золотыми приборами, с гербовым сервизом и хрусталем. Как только уселись за стол, раздалась роговая музыка с хор.

Пред прибором князя, возле которого было указано место Чаковнину, лежало разрисованное меню с наименованием блюд, составлявших обед:

«Похлебка из рябцев с пармезоном и каштанами.

Филейка большая по-султански.

Говяжьи глаза в соусе.

Говяжья небная часть в золе с трюфелями.

Хвосты телячьи по-татарски.

Телячьи уши крошечные.

Баранья нога столитовая.

Гусь в обуви.

Бекасы с устрицами.

Гато из зеленого винограда.

Крем жирный, девичий».

Кроме этих блюд князю подали оливку, приготовленную совершенно особым способом, как объяснил он, съедая ее с огромным удовольствием. Из этой оливки была вынута косточка и на место ее положен кусочек анчоуса. Оливкой начинен был жаворонок, заключенный в жирную перепелку, перепелка – в куропатку, куропатка – в фазана, фазан – в каплуна и каплун наконец – в поросенка. Все это жарилось на вертеле. Величайшую драгоценность в блюде составляла оливка, которая, находясь в середине, напитывалась тончайшими соками окружающих ее снадобий. Эту «драгоценность» и съел сам князь.

С Чаковниным он был все время очень любезен и разговорчив, но, когда вечером остался один в уборной со своими слугами, раздевавшими его под руководством камергера, несколько раз повторил, проворчав вслух:

– «Разведись со мной поединком, я не сержусь на тебя»! Ах ты, шут этакий породный! Я покажу тебе твое место!

В числе других приказаний, данных им в этот вечер, он велел «выдрать докрасна» (что значило до крови) гайдука Ивана на конюшне за «неуважение его к предметам искусства», вследствие которого «чуть было не разбили» дорогую мозаиковую крышку со столика на террасе.

Чаковнину была отведена комната во флигеле, которую показал ему старый дворовый, юркий человек с острым носом и бегающими карими глазками, блестящими, как черные агаты. Он называл себя просто Степанычем и обещал отзываться на эту кличку.

Комната была на двоих. По этому поводу Степаныч рассыпался в извинениях, добавив, что съезд нынче настолько велик, что уж волей-неволей приходится потесниться.

- Да мне все равно, - успокоил его Чаковнин. - Кто ж такой мой сожитель?

- Труворов Никита Игнатьевич, - пояснил Степаныч, - барин весьма обходительный и вальяжный.

Что, собственно, понимал он под этим словом, для Чаковнина так и осталось неразъясненным.

«Вальяжный» барин стоял в одном камзоле, когда вошел Чаковнин.

- Ну, что там, какой там!.. - протянул он нараспев в ответ на приветствие.

- Я имею честь разговаривать с господином Труворовым? - переспросил, настаивая, Чаковнин.

- Ну, что там, все равно там! - ответил тот опять и так дружелюбно и ласково улыбнулся, что эта улыбка сразу расположила к нему нового знакомого.

Было что-то детски наивное и во взгляде, и в как бы удивленно поднятых бровях Труворова, и в особенности во всем его добродушном толстом лице с полуоткрытым ртом, как у грудного младенца. Говоря, он так торопился, пуская пузыри изо рта, что, казалось, хотел слишком много сказать сразу и потому ему слов не хватало, и ничего не мог выразить.

- В котором часу вставать изволите? - суетился Степаныч вокруг Чаковнина. - Вы прикажите только - я к тому часу и платье почищу, и сапоги, и горячего принесу, чего пожелаете: сбитню там или шоколаду, или и кофею даже, потому у нас сам князь кофе кушать изволят и гостям предоставляют лакомство это, сколько кому

угодно.

Чаковнин сказал, что ничего ему не нужно, что проснется он и встанет без помощи Степаныча и платье вычистит сам, а будет пить то, что дадут ему, лучше всего молока стакан.

– Как можно молока! – стал возражать Степаныч. – У нас и кофе со сливками сколько угодно... А вот ежели ночью испить захотите, так тут на столике у изголовья графинчик с кваском поставлен...

Насилу Чаковнин отделался от него. Степаныч все предлагал свои услуги, чтобы помочь раздеться. Ушел он лишь тогда, когда Чаковнин раз десять повторил ему, что благодарит и совершенно в нем не нуждается.

Белье на постели было хорошего полотна. На тюфяке лежала высоко взбитая пуховая перина, гора подушек высилась пирамидой.

Чаковнин стащил перину и подушки на пол и достал себе из своего дорожного вьюка приплюснутую кожаную подушку.

Устроившись таким образом, он приготовился было ложиться, как вдруг его внимание привлекла сложенная в несколько раз бумажка, лежавшая на полу и, вероятно, выпавшая из постели, которую разворотил он. Он поднял ее, развернул и прочел:

«Берегитесь пить что-нибудь, ежели подадут вам отдельно. Не пробуйте кваса со столика. Будьте осторожны со Степанычем».

Чаковнин прочел, повертел записку, перечел еще раз и опять повертел, точно это могло разъяснить ему, кто был неведомый друг, предупреждавший его, покосился на рекомендованный Степанычем графин с квасом и поглядел на улегшегося уже в свою постель на перину Труворова.

«Уж не его ли эта записка? – пришло в голову Чаковнину. – А может, и его надо опасаться тоже?» – сейчас же усомнился он и окликнул своего сожителя:

– Никита Игнатьевич, вы спите?

Утонувший в перине Труворов был закутан с головой в простыню, из-под которой торчал только его белый колпак с кисточкой.

- Ну, что там, какой там!.. - запел он из-под своей простыни.

- Слушайте, Никита Игнатьевич, я вас что-то не помню в числе гостей сегодня; вы не обедали, кажется, в столовой?

- Ну, что там в столовой, какой там! - отозвался сонным голосом Труворов.

- Однако ж я так полагаю, что вы в таких же гостях здесь, как и я, а не присный у князя?

- Ну, что там в гостях! Конечно, в гостях! Какой там присный!

- Значит, вы дворянин и помещик?

- Ну, что там? Ну, дворянин!

- И много имеете душ?

- Ну, что там душ... разбежались которые... а потом какой там... и потом, знаете, я не того... душ...

Чаковнин долго молчал, раздумывая и вертя записку в руках. Когда он поднял голову, Труворов, высвободив лицо, лежал на спине с открытым ртом, подняв свой маленький курносый носик, и всхлипывал, посвистывая им, как делают это спеленутые ребята. Чаковнин щипцами снял со свечи нагар, сжег записку и стал укладываться спать.

V

На другой день Труворов проснулся до восхода солнца. В щели ставен, затворявших окна, не виднелось еще ни одной полоски света, и он, проснувшись,

уоставился в темноту широко открытыми глазами.

С ним это бывало. Временами на него находило нечто вроде спячки, когда он мог спать по пятнадцать часов в сутки без просыпа, и если поднимали его, то он чувствовал себя просто больным, при первой возможности ложился и засыпал. Но зато бывали промежутки, когда в течение двух-трех недель он беспричинно просыпался и, сколько бы ни лежал, не мог уже заснуть. Так было и теперь с ним.

Состояние этой бессонницы всегда казалось ему мучительным. Единственным средством было подняться скорее с постели и идти на воздух.

Никита Игнатьевич знал, что, сколько бы ни лежал он, все равно не заснет. Он спустил ноги с кровати, нашел ими туфли и стал одеваться ощупью.

Завозившись в темноте, он сейчас же наткнулся на стул, загремел им и громко произнес:

– Ай, кажется, разбудил!

Он прислушался, обернувшись в ту сторону, где, по его предположению, была кровать Чаковнина, и успокоился.

– Нет, не разбудил. Вот и отлично, что не разбудил. Ну, что там разбудил? – стал повторять он и опять задел за стул, причем на этот раз с грохотом повалил его. – Ну, вот, теперь разбудил!.. Александр Ильич, Александр Ильич, – принялся звать его, – я разбудил вас?

Чаковнин издал мычание.

– Я разбудил вас, Александр Ильич?

– Не-ет, отстаньте!

– Ну, тогда хорошо, спите, спите!..

Труворов был почти уже одет и шарил теперь руками, чтобы найти свой шлафрок, но, как на грех, попадался ему то камзол, то кафтан. Наконец шлафрок был найден, надет, и Труворов двинулся, выставив руки, чтобы отыскать дверь. Свечу он не хотел зажигать, чтобы не беспокоить сожителя. Однако вместо двери он набрел на кровать Чаковнина, толкнулся о нее ногами, не удержал равновесия и уперся в Александра Ильича руками.

- Ну, вот, опять разбудил! - с отчаянием проговорил он. - Александр Ильич, я вас опять разбудил.

- Да отстаньте вы от меня! - хриплым спросонья голосом огрызнулся Чаковнин.

- Ну, вот, чего там отстаньте!.. Спите, говорят вам, спите, а я купаться иду!

- Да хоть топиться, ну вас совсем!

- Ну вот, уж и топиться! Чего там топиться?.. Сейчас уж и топиться! - заворчал Труворов, нащупал дверь и вышел из комнаты.

В длинном полотняном шлафроке, с колпаком на голове, он отправился прямо на реку.

Дни стояли августовские, но теплые. Близость осени ощущалась только по поспевшим плодам да множеству дичи. Осенних неприятностей в виде дождей и холодов еще не было и помину. Время было самое приятное.

Утренний холодок охватил Труворова. На востоке, у края неба, засветилась уже заря, сначала робко, точно боясь беспокоить густую синюю тьму ночи, но потом, словно решив не церемониться с нею, она все быстрее и быстрее стала расползаться по небу своим разноцветным - то желтым, то красным, то фиолетовым - светом. Облачка вырисовывались нежными красками и казались гордыми, как будто имели и какое-то особенное, свойственное им важное значение среди стоявшей кругом, не пробудившейся еще тихой дремы. Но вот брызнули ярко-золотые лучи, показалось солнце, померкли облачка, дунул ветерок, заплескала река, зашуршали деревья, защебетали, зачирикали птицы, и все оживилось, все проснулось, облитое горячим, бодрым, лучезарным светом.

Хорошо выкупался Труворов на заре. Вода освежила его. Надел он свой шлафрок, колпак и пошел, медленно поднимаясь от реки в гору, наперекоски по кудрявой березовой роще. До приторности ароматно пахла береза, и приятно было вдыхать чистый, свежий воздух. Труворов втягивал его своим вздернутым носиком и вечно полуоткрытым детским, сочным ротиком. Его маленькие глазки сияли от удовольствия и счастья. Он никому не завидовал в эту минуту и наслаждался утром так же искренне, чистосердечно и просто, как вся ликовавшая вокруг него природа.

Он шел, мягко ступая туфлями по бархатной травке, боясь шумом нарушить внутреннее полное довольство, охватывавшее его.

Вдруг он остановился и замер. В нескольких шагах от него, очевидно, не заметив, как он подкрался, тот самый камергер, который был дежурным вчера при князе, затевал что-то совсем неподобное. Он был очень бледен, и руки у него сильно дрожали. Дрожащими руками он поспешно делал петлю на привязанной к суку веревке; она не слушалась его и путалась. Он торопился, оглядываясь по сторонам, боясь, что его поймают кто-нибудь здесь, в роще, куда он забрался потихоньку, но в волнении не видел, что почти возле него, из-за куста, смотрят уже и следят за ним.

– Ну, что там, какой там!.. Что там... того?.. – окликнул его Труворов, волнуясь и по обыкновению не находя слов. – Ну, что там... того... там!.. – И он решительно выступил из-за куста и схватил камергера за руку.

Это был молодой человек с красивыми черными глазами, дворянин Гурлов, служивший у князя.

Схватив его за руку, Труворов задышал тяжело и не мог выговорить ни слова. Только щеки и все тело тряслись у него.

VI

– Пустите! – злобно, сквозь зубы проговорил Гурлов, рванув руку.

– Ну, что там пустите... того... – жалобным, плачущим голосом протянул Труворов, – какой там...

– Пустите! – повторил Гурлов. – Оставьте меня!

– Ну, что там оставьте!..

Они тянули друг друга, каждый в свою сторону до тех пор, пока наконец Труворов не выпустил руки Горлова. Тогда тот в свою очередь оставил веревку и взялся за голову.

Минута высшего отчаяния, в которую человек бывает способен покончить с собою, прошла, и Гурлов опомнился, сознав, что, по крайней мере, теперь, сейчас вот, при этом до слез взволновавшемся человеке в полотняном шлафроке и колпаке с кисточкой, невозможно уже совершить то, на что он решился после сегодняшней бессонной ночи.

Гурлов не спал сегодня целую ночь. Это было видно по осунувшемуся изжелта-бледному лицу его.

– Ах, зачем вы помешали мне! – сказал он, поднимая взор на Труворова.

Тот наморщил брови, забрал воздуха, как бы приготавливаясь говорить, но произнес лишь: «Ну, что там помешали!..» – и двинулся вперед с такой несокрушимой уверенностью в том, что Гурлов последует за ним, что тот действительно последовал, как бы притянутый, как железо к магниту, простотою доброго толстяка, словно посланного судьбою, чтобы удержать его от безрассудного дела.

Они шли молча. Труворов был немного впереди, не оглядываясь, но чувствовал, что Гурлов не отстанет от него. Он шагал решительно, точно знал совершенно определенно, куда надо было вести. И Гурлов следовал за ним. Впрочем, ему было безразлично, что с ним теперь станет.

Они приблизились к флигелю. На крыльце сидел вставший и уже одетый Чаковнин с коротенькою немецкою трубочкою в зубах. Завидев издали Труворова, он стал было приветливо улыбаться ему, но, распознав шедшего

сзади вчерашнего камергера, насупился и, сморщив брови, отвернулся, а затем стал смотреть в другую сторону.

Труворов привел Гурлова прямо к нему.

– Вот он там... какой там, того... – пояснил он главным образом жестом, показав на Гурлова, мотнув головою вверх и обведя пальцем вокруг шеи.

– Вешаться захотел, что ли? – усмехнулся Чаковнин, поняв мимику Труворова.

– Ну, вот там вешаться... Ну, что там вешаться!.. – сказал Труворов и, точно считая оконченным свое дело теперь, когда он привел Гурлова к своему сожителю, в житейский опыт которого уже уверовал, сел на крыльцо и стал вытирать платком себе лоб.

– С такой жизни только и есть что повеситься! – проговорил Чаковнин, не глядя, и сплюнул в сторону, не выпуская изо рта трубки.

– Ну, что там только повеситься! – заволновался Труворов. – Ну, какой там, ну, какой там, Александр Ильич, жизни...

– А такой, – пояснил Чаковнин, – что я диву вчера давался, глядя на этого молодца: стоять и тарелки подавать какому-то самодуру!.. Извините, право, лучше повеситься!..

– Слушайте, – заговорил Гурлов, садясь тоже на крыльцо, – судя по тому, как вы держали себя вчера, мне не хотелось бы, чтобы вы, именно вы думали обо мне так дурно.

– А как же думать иначе, государь мой? Вы на моих глазах вчера пресмыкались, и, как хотите, оправдать это я не могу.

– Ну, так не судите, не узнав дела.

– А что мне узнавать? – проворчал Чаковнин и отодвинулся, и в самом деле не желая слушать.

Гурлов тяжело вздохнул.

– Нет, все-таки я расскажу вам, – проговорил он после долгого молчания. – Знаете ли вы, что у него под домом в подвалах тюрьмы устроены? На цепь там людей сажают, селедкой кормят и огуречным рассолом поят, а утолять жажду не дают, и дыба у него существует... Он ни в чем себе помехи не знает, делает, что хочет, а хотенью его нет пределов. Он, как безумный... ни пред чем не останавливается и людей мучает...

– Ах, забодай его нечистый! – вырвалось у Чаковнина.

– Ну, вот, – продолжал Гурлов, – представьте себе, если бы вдруг в полной власти такого человека очутилась девушка...

– Ну, что там девушка!.. – сочувственно протянул Труворов, видя, что Гурлов запнулся, потому что голос задрожал у него, и он не в силах был, казалось, продолжать.

– Девушка, которую вы любите, – сделав над собою усилие, выговорил Гурлов.

– Ну-с? – сказал Чаковнин.

– Ну, та, которая вот дороже мне жизни, в полной власти его находится...

Чаковнин вынул трубку изо рта и повернулся к Гурлову:

– Как же это так?

– А так, что она – его крепостная. Крепостная актриса она у него. Она была подростком отдана в ученье в Москву. Обучили ее, воспитали; она по-французски говорит, читала много, образованнее она его самого теперь... Вот в Москве мы свиделись и полюбили друг друга...

– Ну, а теперь она здесь? – спросил Чаковнин, немилосердно пыхтя трубкой.

– Здесь. Две недели тому назад привезли ее сюда. Я за нею приехал.

VII

– Так какого лешего надо вам было в холопы к этому негодяю идти? – снова обозлившись, проговорил Чаковнин.

Он не мог переварить еще то унижение, в котором видел вчера Гурлова, исполнявшего свои камергерские обязанности.

– А что мне было делать? – отозвался тот. – Я приехал сюда один-одинешенек, да и вообще-то на свете один я, родни никого нет. Отец с матерью померли. Только и было у меня, что Маша на свете...

– Здесь-то вы виделись с нею?

– Нет... то есть до вчерашнего вечера не видал я ее... Приехал я сюда, о ней ни слуху, ни духу. Среди здешних театральных не показывалась она, нигде не было видно ее. Стал я расспрашивать – ни от кого даже намека не добьешься, будто и не привозили сюда Маши... Что было делать? Мерзко, гадко, тяжело, а пришлось всем пожертвовать. Одно оставалось: сделаться здесь домашним, чтобы узнать хоть что-нибудь о ней. Ведь управы не найти на него, а тут она его крепостная; значит, он может делать, что хочет... силой не высвободишь ее... Вот почему стал я этим самым камергером... Вы думаете – по охоте? Как же! Что тут испытал я – сами можете судить!..

– Ах, забодай его нечистый! – снова повторил Чаковнин, на этот раз уже сочувственно Гурлову.

– И представьте себе, – продолжал тот, – он ее голодом морит... Только вчера узнал я это.

Гурлов стиснул зубы, охватил колени руками и замолчал, уставившись потерявшими вдруг всякое выражение глазами в одну точку.

– Тогда, как угодно, сударь мой, – сказал Чаковнин, кладя руку ему на плечо, – не могу я взять в толк ваше сегодняшнее намерение, от которого воздержал вас

Никита Игнатьевич...

Гурлов не ответил.

– Чего ж вы вешаться-то хотели? Нешто спасли бы этим свою милашку от голода? – переспросил Чаковнин.

– Теперь все кончено. После вчерашнего теперь все кончено! – махнул рукою Гурлов.

– Ну, что там кончено, какой там кончено! – запел вдруг Труворов и, достав из кармана шлафрока табакерку, стал толкать в бок Гурлова и протягивать ему свой табак, чтобы попробовать хоть этим утешить его.

– Нет, молодец, не кончено, – уверенно произнес Чаковнин, – будь спокоен, высвободим...

– Ну, вот, того... – сказал, вдруг окончательно расчувствовавшись, Труворов с намернувшимися на глаза слезами, – а вы говорили, Александр Ильич, что там тарелки подавать!

– Ну, и сбрехнул, значит, сдуру, – согласился Чаковнин. – А теперь вот вам, – обратился он к Гурлову, – правую руку даю на отсечение, коли я вам не помощник. Рассказывайте дело по порядку. Где она теперь?

– Заперта, должно быть, в комнате.

– Не в подвале, значит?

– Нет, в комнате. Я ее видел вчера там. Сам он водил меня к ней. Вчера, как раздели его, надел он халат, отпустил слуг и говорит: «Возьми канделябру и ступай за мной!» Пройшли мы коридором. Он подошел к крайней двери, сам ее ключом отпер. Горница штофом затянута, кровать под балдахином с кружевами, софа, а на софе ничком Маша лежит... Вошли мы, и стал он с нею разговаривать. «Ты, – говорит, – вот три дня не пила, не ела, а видела, как мы сегодня за столом кушали, ну, так вот, если меня слушаться захочешь, сама так же покушаешь». Он ее в голоде держит и с хор на свои обеды глядеть заставляет.

– Ах, чтоб ему подавиться своей оливкой! – крикнул Чаковнин и ударил в крыльцо кулаком.

Глаза Гурлова горели, кулаки были сжаты, и он заговорил быстро, едва переводя дыхание:

– Да ведь она меня видела во время обеда, как я вчера прислуживал ему! Подняла она голову от софы, а я стою с канделябром. Глаза наши встретились...

– Ну? – воскликнул Чаковнин.

– Ну, не выдержал я, пустил в него канделябром...

– Молодца! – вырвалось у Чаковнина.

– Он закричал благим матом, повалился. Стали слуги сбегаться, взяли его, понесли... У меня ее глаза до сих пор передо мною. Такая ненависть была в них. Да иначе она и не могла смотреть на меня, если видела меня во время обеда!.. Тут я понял, что все кончено между нами. Бросился я к себе в комнату, не помню, что было со мною... Потом помню уже себя в роще с веревкой...

– Значит, вас не тронули до сих пор? – стал рассуждать Чаковнин, – очевидно, он еще не очнулся с того момента, как вы хватили его. Может, теперь его и в живых уже нет...

– Ну, что там в живых! – сказал Труворов. – Надо того... коли он очнется... какой там... спрятать его, – и он кивком головы показал на Гурлова.

VIII

Во флигеле все еще спали. Ставни в нижнем этаже были заперты. Чистое крыльцо, на котором происходил разговор, выходило в примыкавший к березовой роще парк. С этой стороны было совершенно безлюдно. Большой дом стоял в стороне, и только из верхних окон флигеля виднелась из-за деревьев его крыша.

– Ну, нас никто не мог еще заметить здесь и никто не заподозрит, по крайней мере сегодня, что вы у нас. Пойдем к нам в комнату! – сказал Чаковнин Гурлову.

Они поднялись на крыльцо, прошли по темному коридору и благополучно очутились в полутьме своей комнаты, освещенной лишь щелями в ставнях.

– Ну-с, теперь обсудим, как нам быть! – начал Чаковнин, усаживаясь на постель.

Гурлов беспомощно опустился на стул.

– Ничего не поможет! – с отчаянием произнес он. – Она вновь никогда не полюбит меня!..

Труворов закачал головою, отчего кисточка на его колпаке замоталась из стороны в сторону:

– Ну, что там любить! Надо, какой там... человека того...

– Истину изволите говорить, Никита Игнатьевич, – подхватил Чаковнин, научившийся уже понимать бессвязную речь Труворова. – Истину чистую изволят они говорить, – обратился он к Гурлову, – суть не в любви теперь, и особая статья; любит она вас или нет – это еще ничего не известно, потому что девичий нрав таков, что забодай его нечистый... а спасти ее надо, как человека, по человечеству, значит, и для этого должны вы о себе забыть и живот свой положить ради ее освобождения.

– Именно, того, живот!.. – подтвердил Труворов с таким видом, точно не Чаковнин, а сам он произнес всю эту речь.

Гурлов поглядел на Александра Ильича, и проблеск надежды мелькнул в глазах его.

– Да, – проговорил он, – спасибо вам, вы хорошо сказали: если умереть, то за нее, не так, не зря, а за нее... Правда ваша... Ну, говорите теперь, что мне делать?..

– Да вы успокойтесь, батюшка, – улыбнулся Чаковнин. – Сию минуту делать еще ничего не приходится; вот подумаем да обсудим, а вы успокойтесь пока, поберегите себя для нее же. Вот хотите, я кваску налью вам, – и он потянулся к столику у кровати, где стоял графин с квасом.

– Нет, – остановил его Гурлов, – если уж я должен беречь себя, так этот квас пить мне не годится.

Чаковнин внимательно поглядел на него и сказал с расстановкой:

– Эге, я забыл, что вчера мне было предупреждение насчет этого кваса! Я теперь так смекаю, что за него я вас благодарить должен. Это вы мне вчера записку подбросили, теперь понимаю. Так! Значит, я вам жизнью, может быть, обязан, если в этом квасе отравка заключается.

– Отравы нет, – ответил Гурлов, – а только сонные порошки. Вы бы заснули так, что вас сегодня Никита Игнатьевич не добудился бы, а потом пришли бы люди и отнесли бы вас вниз, в погреб. Там вы очнулись бы в беспомощном состоянии.

– Ну, а потом-то как же? Или выхода нет из этого погреба?

– Есть. Только вас там довели бы разными снадобьями до помрачения рассудка и выпустили бы полоумным, а потом жалели бы, что вот, дескать, что приключилось с человеком!..

– Ах он, изверг рода человеческого, – не испуганно, но удивленно проговорил Чаковнин. – Ну, во всяком случае, благодарен вам за предостережение... Теперь я уже в неоплатном долгу пред вами...

– Ну, что там долгу! – запел Труворов, стоявший у окна и глядевший в вырезанное сердцем отверстие в ставне, – какой там... вот там!.. – повторил он, показывая пальцем в парк.

Чаковнин встал и подошел к окну.

– Вот оно что! – проговорил он. – Господин князь действовать начинает...

– Что такое? – и Гурлов кинулся тоже к окну.

– Ничего еще особенного нет, – остановил его Чаковнин, схватив за руку, – не горячитесь! По парку мужики идут цепью с дубинами. Очевидно, вас ищут. Ну и пусть ищут! Пока вы у нас – вас открыть нелегко, ну, а если откроют, так мы бунт подыдем и, во всяком случае, живыми не сдадимся. Ведь не сдадимся, Никита Игнатьевич? – обернулся он к Труворову.

– Ну, что там не сдадимся! – протянул тот. – Какой там бунт... надо его того...

Он отворил платяной шкаф и осматривал его внутри, а сам прислушивался к тому, что происходило во флигеле.

Наверху уже слышалось движение. Где-то хлопнули дверью. Внизу в коридоре прозвучали шаги. Сторож хлопал ставнями, отворяя их на другом конце флигеля.

– Того! – проговорил Труворов, показав Гурлову на шкаф.

Тот вскочил в него, но не успел Никита Игнатьевич захлопнуть за ним дверцу, как дверь растворилась, и на пороге показался Степаныч.

IX

Труворов со свойственным ему невозмутимым спокойствием затворил шкаф, поглядел равнодушным взглядом на Степаныча и направился к своей постели, как ни в чем не бывало.

В комнате было настолько еще темно, что Степаныч мог и не заметить Гурлова, но также легко могло случиться, что он и увидел его.

Чаковнин испытующе, искоса поглядел на Степаныча. Тот не выдал себя ни одним движением. Он поводил из стороны в сторону своим острым носиком, и глазки его бегали, но это было обыкновенное, привычное ему выражение.

Чаковнин успокоился. Уж очень хладнокровно Труворов запер шкаф и отошел от него, так что если даже Степанычу и показалось что-нибудь, то он мог быть обманут этим хладнокровием Никиты Игнатьевича.

– Изволили уже проснуться? – заговорил Степаныч. – По-походному, значит... – Его бегающие глазки несколько раз останавливались на графине с квасом. А кваску не изволили отведать?

«Эге, – подумал Чаковнин, – да ты, видно, из болтливых!.. Пстой-ка, брат!»

– Так я вам кофейку принесу сейчас, – засуетился Степаныч, – извольте отведать кофейку нашего.

– Кофейку я вашего не хочу, – сказал Чаковнин, – а вот что, Степаныч, расскажи-ка мне про здешнее житье и обычаи! Весело здесь живется, например?

Он, видимо, продолжал игру Труворова, не торопясь отсылать Степаныча, а, напротив, заводя с ним длинный разговор, как будто тут у них в комнате ничего подозрительного не было.

– Весело ли живется у нас? – переспросил Степаныч. – Вот поживете – увидите!.. У нашего батюшки, сиятельного князя, полная чаша; вельможа настоящий, роговая музыка своя...

– Говорят, и театр свой есть?

– Театр свой, как же без театра? Все как надо: полотна расписные спущены, и занавес пунцового чистого бархата с кистями золотыми и бахромой. Сейчас эту занавесь подымут, выйдет сбоку Дуняша, ткача дочь, волосы наверх подобраны, напудрены, цветами изукрашены, на щеках мушки наклеены, сама в помпадуре, в руке посох пастушечий с алыми и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять. А когда Дуня отчитает, Параша подойдет, псаря дочь. Эта пастушкой наряжена – в пудре, в штанах и камзоле. И станут Параша с Дунькой виршами про любовь да про овечек разговаривать, сядут рядом да обнимутся... Андрюшку-поваренка сверху на веревках спустят; бога Феба он из себя представляет, в алом кафтане, в голубых штанах с золотыми блестками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена, прозывается лирой. Вокруг головы у Андрюшки золоченые проволоки натканы, вроде сияния. С Андрюшкой девять

девок на веревках тоже спускают. В белых робронах все. У каждой в руках нужная вещь: у одной скрипка, у другой святочная харя, у третьей зрительная труба. Под музыку стихи пропоят, князю венки подадут... Это пасторалью называется... А то есть еще опера...

- Ну, а красивые актеры есть? - спросил Чаковнин.

- Есть! - подтвердил Степаныч. - Как же красивым актерам не быть? Уж на то они и актеры, чтобы красивыми быть...

- Ну, какие же красивые?

- Да вот Дуняша, ткача дочь, опять-таки Параша, псаря дочь, Агафоклея-сирота; та голосом больше берет, петь умеет чувствительно...

- А где же обучаются они?

- Каждая в своем месте, по способностям, которые от рождения имеет...

- А в Москву в ученье посылают?

- И в Москву посылают.

Как ни старался, как ни наводил Чаковнин Степаныча, тот ни словом не обмолвился относительно вновь прибывшей из московского ученья Маши. Так и пришлось отпустить его.

- Нет, или он хитер, - решил Чаковнин, когда Степаныч удалился, - или же сам ничего не знает о ней.

Гурлова сейчас же выпустили из шкафа.

- Ну-с, сударь мой, - заговорил Чаковнин, - простите, как по имени-отчеству звать вас?

- Сергей Александрович.

- Ну-с, Сергей Александрович, что же мы теперь предпринять можем?

В шкафу, очевидно, было душно и жарко. Гурлов отер платком влажный лоб и лицо, положил ногу на ногу и задумался.

- Вот что, - начал он погодя, - есть в Вязниках один человек, который может помочь мне. Человек этот хороший сам по себе, а кроме того, я его на прошлой неделе от рогаток спас.

- От каких рогаток?

- А это у князя тоже наказание такое существует: свяжут человека по рукам и ногам, поставят посередине комнаты и шею с четырех сторон рогатками подопрут. Так и стой.

- Ах, забодай его нечистый! - опять рассердился Чаковнин. - Кто ж этот человек?

- Здешний театральный парикмахер. Зовут его Прохор Саввич, а больше просто Прошкой. Если его попросить, то, я думаю, он мне сюда мужицкий костюм достанет, парик и бороду смастерит...

Чаковнин наморщил лоб.

- А надежен этот ваш Прошка, не выдаст?

- Кроме как к нему, обратиться не к кому; коли выдаст - значит, судьба, - ответил Гурлов. - Только не за что платить ему мне злом за добро.

- Ну что там, выдаст, ну какой там, выдаст! - решил Труворов, внимательно слушавший. - Надо, Александр Ильич, поскорее...

- Да уж надо поскорее, - согласился Чаковнин, взявшись за картуз. - Где же этого Прошку найти можно?

- В большом доме при театре; там у него конурка под лестницей...

– Разыщу! – успокоил Чаковнин и, кивнув головой, вышел из комнаты.

Х

Князь Гурий Львович, принесенный в обмороке в свою спальню, очнулся не сразу.

Состоявший при нем лейб-медик из аптекарей Август Карлович Кнох дважды пускал ему кровь.

Наконец Каравай-Батынский пришел в себя. Обморок оказался последствием испуга. Никаких органических повреждений не было, кроме незначительной боли в голове от ушиба да синяка на спине. Бывший на князе пышный парик защитил его от удара канделябром.

Князь очнулся, но чувствовал себя очень слабым после двойного кровопускания. Он боязливо оглядывался, как будто не уверенный, не ударит ли его еще кто-нибудь, дрожал всем телом и жалобно стонал. Кнох и секретарь не отходили от него, и, успокоенный ими, он заснул.

Проснулся князь на заре, ощупал голову, тело и убедился, что цел и невредим.

Тогда он перешел с кровати на широкое кресло, закутал ноги одеялом, положил на темя компресс из ледяной воды и потребовал себе кофе, который скушал с аппетитом.

Тут, за кофе, он призвал своего секретаря и потребовал доклад, схвачен ли «вчерашний» злодей и что с ним сделано?

Секретарь, худощавый старик, в больших круглых очках, с толстым носом и грубыми, чувственными губами, в парике с буклями и косичкой, подошел к ручке князя и попросил его не беспокоить себя недостойным того злодеем, а пуще всего думать о своем драгоценном здравии.

– Я тебя спрашиваю, схвачен ли этот негодяй и что с ним сделано? – прикрикнул князь.

– Послано на розыски его, ваше сиятельство.

– Как послано на розыски? – удивился князь. – Отчего же его с места вчера не взяли?

– Вначале невдомек было, потому что мы хлопотали возле вашего сиятельства, а под утро я послал в его комнату, но она оказалась пуста.

– Удрал, значит?

– Куда же ему удрать, ваше сиятельство? Далеко ли уйдет он пешком? Где-нибудь здесь поблизости должен околачиваться. Теперь у меня повсюду посланы мужики с дубьем, они цепью ходят. Весь парк обошли, каждое деревце, каждый камушек осмотрели.

– И не нашли никого?

– Пока еще не нашли, ваше сиятельство.

– Ах ты, дурак! – проговорил князь, отвертываясь. – Надо было вчера же ему руки скрутить.

При слове «дурак» секретарь вздрогнул всем корпусом, косичка у него, оттопыренная на затылке, подкинулась при этом кверху. Он поправил очки и, поджав губы, заговорил, сгибаясь:

– Я, ваше сиятельство, велел попа привезти, чтобы молебен отслужить о вожденном здравии вашем, которое подверглось вчера опасности.

– Дурак! – опять произнес князь, и опять секретарь вздрогнул, тряхнув косичкой.

Каравай-Батынский долго сидел молча и сопел.

– Ничего сообразить не можешь, – сказал он наконец, сильно нахмурившись. – Да если только холопы узнают о том, что нашелся человек, который осмелился руку поднять на персону нашу, так ведь они всякий страх перед ней потеряют. Подумал ли ты об этом? Нет? Значит, дурак и выходишь! От холопов и ото всех в усадьбе и прочих деревнях о вчерашнем происшествии скрыть. Это раз. Сказать, что некий Гурлов, бывший у нас в должности камергера, скрал сапфировый перстень и деньгами тысячу рублей и скрылся неведомо куда, и дать знать об этом стряпчому в город. Это два. А третье – то, что ежели сегодня сказанный Гурлов мне отыскан не будет, так я тебя...

– Будет отыскан, – уверенно произнес секретарь, – только дозвоьте, ваше сиятельство, мне некоторое суждение высказать. Приезд сюда злодея Гурлова, насколько понимать могу, состоялся неспроста. Совпал он как раз с появлением из Москвы новой крепостной актрисы вашего сиятельства Марьи, при виде которой злодей Гурлов распалился до забвения рассудка, рискнув на деяние сумасшедшее. А не было ли промеж них еще в Москве знакомства заведено, а может быть, и каких-нибудь предосудительных шашен?

Князь поднял брови, чмокнул и одобрил:

– Не так глупо соображаешь! Бывает и червяку дунуть на своем веку!.. Что же дальше?

– Дальше, ваше сиятельство, я полагал бы по этому случаю допросить сказанную Марью с пристрастием, да строжайшим, чтобы она, признавшись, повинилась во всем.

Князь развел руками и произнес, словно обрадовавшись:

– Вот и снова дурак! Только и знает, что допрос со строжайшим пристрастием! Да ведь ты искалечишь ее своим допросом-то, а сложение у ней такое нежное, что не только портить, а и смотреть-то тебе на него нельзя... Ведь это – одна воздушность, красота... То есть не умеют люди искусства ценить!.. Гайдук Ивашка наказан?

– Наказан, ваше сиятельство!

– Ну, вот, поймаешь Гурлова, его и допрашивай, как хочешь, а Марью не тронь... Ну, а барин-силач что? Фордыбачил вчера?

– В квас ему на ночь сонных порошков положено. Служить к нему Степаныч приставлен.

– Сказать Степанычу, чтоб беспременно опоил, чтобы у меня заснул этот барин... Да вот что: актрису Марью с голодовки снять! На завтрак ей сегодня дать трюфелей, спаржи, гусиную печенку с трюфелями, цыплят в эстрагоне, имбирного варенья, и чтобы все первый сорт, как мне самому, да бутылку шампанского принести ей. Ты понимаешь, ради чего это сделать надлежит?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/volkonskiy_mihail/vyaznikovskiy-samodur

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)